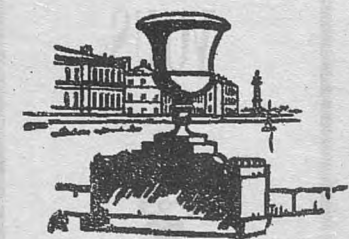


Михаил ГРИГОРЬЕВ

Петербург

начала XX века.

Наброски воспоминаний



Васильевский остров

Васильевский остров в своей восточной части мало изменился. Кадетская, ныне Съездовская, Первая линия и Университетская набережная имели в XVIII–XIX веках такой же вид, только менее благоустроенный. На Тучковой набережной не было большого серого здания, выстроенного перед войной 1914 года для Министерства Торговли и Промышленности. На Первой линии у больницы Марии Магдалины помещалась Римская духовная Академия, превосходное ампиное здание. Воспитанники этой Академии, взрослые католические священники, в черных сутанах с пелеринами, прогуливались по тротуарам попарно длинной процессией. Увидев их, мальчишки со всех дворов бежали рядом, распевая нехитрые стихи: “Католик, католик, сел за столик, столик свалился, католик разбился”. Ксендзы шли, потупя взор, и делали вид, что не замечают нахальства мальчишек.

Прилегающие к Биржевой стрелке улицы образовывали своего рода Академический центр: музеи, Академия наук, Филологический институт, Филологическая гимназия, Университет, Первый Кадетский корпус, Академия художеств. В районе Большого и набережной был расположен ряд учебных заведений: Седьмая гимназия, Морской корпус, Патриотический институт, Елизаветинский, Первое Реальное училище, Горный институт, частная гимназия Шаффе. На Большом находились две частные немецкие больницы, третья “Александровская” на Пятнадцатой линии.

Между Большим и Малым проспектами на линиях стояли деревянные домики и усадьбы с садами, прямо как в глухой провинции. Летом сквозь бульварники мостовой и у покосившихся заборов весело пробивалась зеленая травка.

Седьмая линия была главной торговой улицей Васильевского острова, а бульвар на ней служил местом вечернего гуляния молодежи. Он, а также бульвары Большого и Среднего проспектов в начале XX века были в очень жалком состоянии: газоны вытоптаны, везде мусор, деревья с оторванной корой.

Васильевский был очень тихим районом города. Жизнь кипела в Портовой части, на набережной Лейтенанта Шмидта, да около заводов, сосредоточенных на юго-западной оконечности острова. Наибольшее движение было на Большом и Среднем проспектах, на Первой линии, наименьшее — на Малом. На остальных улицах было тихо, редко-редко проедет экипаж. Тащились только похоронные процессии, направлявшиеся на Смоленское кладбище.

За Семнадцатой линией и Средним проспектом начиналась окраина: пустыри, свалки, жалкие деревянные домишки, курятники, сараи, разбитая мостовая и земляные тротуары.

Так же выглядела и Гавань, которую заливали даже при небольшом наводнении. Но люди не покидали ее, их загоняла сюда и

Автор этой рукописи — известный в 30–50-х годах ленинградский театральный художник М.А. Григорьев — не успел придумать ей названия. В 1960-м его не стало. Договор с издательством остался неподписанным, рукопись незавершенной.

Поступившие в архив Российского института истории искусств папки хранили наброски, самые общие очертания будущего труда.

Подготавливая издание, мы старались не изменить автору, сохранить его интонацию, неповторимый дух григорьевского повествования. В чем он?

В первую очередь, в том, что это рукопись художника. У него свой ракурс. В поле зрения специалиста попадает то, что обычно остается на периферии внимания или вовсе незамеченным. Память художника фиксирует раскраску паровоза и яхты, устройство того или другого типа городского транспорта, силуэт буяна, колоритные детали костюма ломового извозчика и петербургского щеголя, топографию навсегда исчезнувших уголков города.

Сохраняя документальность изображения, равную хроникальным кадрам или архивным фотографиям, он обогащает их цветом. Перефразируя название книги коллеги художника В.М.Ходасевича “Портреты словами”, мы можем сказать о рукописи М.А.Григорьева: это “живопись словами”, пейзажи, натюрморты, жанровые картинки Петербурга 1910-х годов.

Специфика видения определена профессией. Вот описание Дворцовой площади: “Зимний дворец, Ламотовский павильон, Эстерпортаузы были выкрашены одинаковой темно-красной краской, без выделения деталей. Площадь, благодаря темному цвету, казалась шире, ансамбль производил впечатление большого единства, но сама архитектура зданий была этим безнадёжно испорчена”. И в оценках автор продолжает оставаться художником. Интерьерам Мраморного дворца, архитектуре Благовещенской церкви и Церкви Спаса на Крови выносятся строгие эстетические приговоры.

Рукопись М.А.Григорьева — не научный труд. В потоке литературы о городе она в наименее полномодном фарватере — мемуарном. В книге М.А.Григорьева есть что-то от путеводителя в детство. Так показывают свой дом: здесь у нас был папин кабинет, а вот тут детская, перед вами комната прислуги, а это наш зимний садик. Мы не идем реальными городскими маршрутами, а переносимся вместе с автором из одного уголка воспоминаний в другой. Здесь, на улице Полозова, он жил, переходя через Карповку, “воспетую Жуковским”, незаметную в масштабах города и такую существенную в его повествовании, шел к Иоанновскому монастырю, окутанному атмосферой тайн и слухов. Множество преданий и легенд того времени хранит эта рукопись. Нет ничего смешней, чем проверка их подлинности. Городские мифы — часть нашей культуры, передаваясь из поколения в поколение, они соединяют разные эпохи жизни северной столицы.

В книге — множество уголков, которые не показывают туристам. Этот город не парадный, а обжитой, существующий в своем времени, ведь эта книга и о нем тоже. В ней нет официальной истории. Здесь не стреляет “Аврора”, не берут штурмом Зимний. Оказавшись на Каменноостровском, мы не попадаем в музей С.М.Кирова, зато узнаем об Игровом доме певички Вяльцевой, находящемся неподалеку. Отмечаю “аполитичность” автора потому, что писалась книга в конце 1950-х годов, когда подобная авторская свобода была редкостью.

Немного о биографии. Начнем традиционно: “М.А. Григорьев воспитывался в небогатой дворянской семье”. Играл с сестрой в четыре руки, пел романсы с братом, немного сочинял за роялем сам, переводил в свободное время с французского, вел дневник (он сохранился), увлекался историей и философией, учился в Петербургском университете. В семнадцать лет, сразу после начала первой мировой войны, пошел вольноопределяющимся на фронт. Служил на Скандинавском полуострове, летал на “нюнпорох” — “деревянных этажерках”, снимая планы немецких укреплений. Близ латышского села Икскуль был подбит, лежал с контузией и разрывом связок позвоночника в госпиталях, в одном из них в Петербурге, на лазаретных ширмах оформил свой первый спектакль. Учился в Свободных художественных мастерских, сначала у Д.Н.Кардовского, потом В.И.Шухаева и К.С.Петрова-Водкина. Голодал, бросив Академию, вместе с семьей бежал на сытый юг. Вернулся в 1922-м, не имея работы, время от времени таперствовал в маленьких театриках; благодаря протекции Н.А.Бенуа устроился в

мастерские ГАТОБа, писал декорации, делал бутафорию, пробовал себя в оформлении детских книг. С.Я.Маршак устроил в ТЮЗ. Был исполнителем, потом и художником-постановщиком. Вместе с режиссером Б.В.Зонном в 1932-м откололся от “старика” А.А.Брянцева, создал Новый ТЮЗ. После возвращения из эвакуации и расформирования зонновского коллектива служил главным художником Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Занимался городским дизайном: окраской улиц и площадей города, проектированием рабочих клубов и столовых.

С годами травма позвоночника сделала из него калеку.

Сгорбленный силуэт М.А.Григорьева был неотъемлемой частью театрального, художественного и издательского ландшафта города: он оформлял спектакли и книги, экспонировал работы на выставках, заседал в ЛОСХе, преподавал в художественных студиях.

М.А.Григорьев не подвергался репрессиям, напротив, был оценен и награжден: званием Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1956), орденами “Знак почета” (1940) и “Трудового Красного Знамени” (1957). Но ему довелось стать свидетелем, как постепенно уничтожалось то, что было ему дорого и им любимо, на чем он воспитывался: храмы и часовни, быт и традиции, прежние чуть церемонные отношения, петербургский образ жизни, интеллигентность. Петербург, нет-нет, а мелькавший сквозь Ленинград, раздражавший руководителей страны, уничтожался рьяно и планомерно. И так же упорно, изо дня в день, сгорбившись над письменным столом, словно замкнув круг своей жизни, лишенный возможности передвигаться, работать в театре, подняться на сцену или в живописный зал, ограниченный пределами собственной квартиры, художник записывал воспоминания.

Видения детства складывались цветными стеклышками калейдоскопа: полеты первых русских авиаторов, с трудом заползающая на мост конка, переезд через Неву на ялике и ловля рыбы на тонях, проезд под мостом барж с откинутой трубой, в отверстие которой плевали с моста петербургские гомены. Память полна детских “страшилок”: узники, замурованные в стене бывшего особняка графа Шувалова, гонимый, разбившийся на Петровском острове во время праздника, утопленник, чьи ноги останутся в руках у тащившего его из воды рыбака. То есть все, что в первую очередь поражает воображение ребенка. Увиденное ребенком, рассказано взрослым: “Впереди верхом на тяжелом лосящемся коне мчался трубач в медной каске, который трубил в военный горн, давая знак, чтобы все освобождали путь для проезда пожарного обоза. На некотором расстоянии от него летела галопом первая линейка, которая везла тройку чудовищных по росту и силе коней”. Чем ни описание игрушки или сцены из балетного спектакля. Сохранены все особенности детского восприятия. Не только цвета — запахи! Васильевский остров пропах селедкой. Такая рельефность видения характерна для детей и художников. Только их память может хранить такую чувственность, осязаемость, красочность, объемность и, вместе с тем, детальность прошедшего.

Эта рукопись — о навсегда уходящей натуре, которую пытается совершенно сознательно запечатлеть художник, интеллигент, дворянин, сам по себе, “уходящая натура”. С какой любовью и осознанием ценности исторического момента описаны все эти конки, кареты, пролетки, ялики, баржи и паромы, витрины магазинов и формы военных — вся материальная фактура той, давно ушедшей эпохи. Но не только фактура. Быт, образ жизни, ее движение. Сравнивая витрину елисеевского гастронома с картиной Снайдерса, М.А.Григорьев формулирует и жанр своего повествования. Это дивные пейзажи и чудные натюрморты, движущаяся, как в кино, панорама навсегда ушедшей жизни.

Сорок лет назад, рука об руку, локоть к локтю, за столом сидели ребенок и взрослый, знающий цену утрат и горький привкус воспоминаний, осознанно пытавшийся не только скрасить свои печальные дни, но и миссионерски сохранить для потомков картины прошлого, его материальную культуру.

Любовь ОВЭС

Главы из рукописи М.А.Григорьева, подготовленные Л.С.Овэс, публиковались в “Петербургском Театральном Журнале”, в “Балтийских сезонах”, в сборнике “Невский архив”. “ЭС” представляет еще три фрагмента из будущей книги.

Здравствуй, Ленин!